
Макс ШАПИРО

РАСКАЗЫ

АЛЛЕРГИЯ

Я чистый лист в исписанной тетради.
Дыханье ветра. Рябь на водной глади.
Я память долгая туманной белой дали.
Надежда скорби, тишина печали.
И счастлив я, что так меня немного,
Что жизнь — лишь нота
В колыбельной Бога.

Доктор Рид обожествлял медицину — тончайшую из искусств и первейшую из наук. Математику называют королевой естествознания... Возможно, скептически соглашался доктор Рид. Однако алтарь науки, ее дух, сердцевина — только медицина. Ничто, кроме медицины, с ее безусловным стремлением облегчить страдания и спасти человека, не может быть святой святых храма знаний. А если учесть, что больной доверяет врачу свою жизнь, верит и до последней минуты надеется на чудо, то медицина в некотором смысле возвышается до религии, среди жрецов которой доктор Рид стоял далеко не на нижней ступени.

Был вечер пятницы, прием больных почти закончился. Доктор Рид устал. Он с надеждой выглянул в соседнюю комнату с терапевтическими креслами в белых чехлах. Рядом с последним сидели две женщины, стояла капельница. Доктор быстро закрыл дверь, вернулся к рабочему столу, где лежали анатомический атлас, серебряное перо и стопка визиток.

Он начал выкладывать из визиток пасьянс. «Ян Рид. Общая онкология» — зарыбила золотая надпись на мерцающем глянце. Отложил стопку, уныло уставился на часы — еще полчаса, и все пациенты наконец уйдут. Он улизнет из клиники, дойдет до японского ресторана в центре Пало-Алто. Встретит Фреда, своего приятеля еще с интернатуры. Фред Кейн — лучший гастроэнтеролог Стэнфорда (Ян был в этом уверен), талантливейший врач, умница, безупречный профессионал. Доцент, между прочим!

Они посидят, не спеша обсудят новости. Затем лениво побродят по шумным улицам, зайдут в винный зал, возможно, в кино... Он погрузится в беззаботную суету вечернего города и освободится на несколько часов из-под власти клинической онкологии... до начала телефонного дежурства, когда его недолгий покой нарушат тревожные звонки из приемного отделения.

Ян встал, прошелся по кабинету и направился было к книжной полке. Остановившись перед зеркалом, принялся изучать свое отражение. Выразительные, внушающие доверие глаза, крупный нос, твердая линия рта, широкий, без морщин, лоб. Распола-

Макс Шапиро — переводчик, прозаик. Родился в Ленинграде в 1966 году. В 1988 году окончил ЛИИЖТ (ныне Санкт-Петербургский университет путей сообщения). По профессии инженер-программист. Публиковался в альманахе «Крылья» (2023). Живет в США.

гающая внешность! Опытный, уверенный в себе врач. Интересный, еще не старый мужчина. Огорчали легкая небритость и мятый халат. Зато ни одного седого волоса. Усталый вид в пятницу вечером более чем извинителен, а щетина... так это сейчас модно.

Он оторвался от зеркала. Вернулся к столу, открыл процедурный график. Улизнуть раньше не удастся: последней в списке стояла Ковита, тихая иранская девочка, приходившая на химиотерапию вместе с матерью и бабушкой. Незаметно не пройти, а разговаривать не хотелось. Придется тоном незыблемой уверенности, избегая взглядов двух пар испуганных черных глаз, отвечать на однообразные вопросы несчастных женщин, чей ребенок неумолимо угасал, утекая из их заботливых, но бессильных рук.

Ян со вздохом опустился в кресло, достал из ящика историю болезни Петра Большакова — мальчика, внезапно скончавшегося в Стэнфордском госпитале от аллергической реакции. Досадно, что говорить. Но сбои при диагностике неизбежны, в педиатрической онкологии тем более. Умение хладнокровно их анализировать и избегать — профессиональная необходимость. Врачи учатся этому болезненно и достаточно быстро. Пару лет работы в клинике, и начинающий онколог спокойно оценивает любую неудачу, а бесконтрольная эмпатия вредит и врачам, и пациентам.

Ян, может, и не вспомнил бы этот трагичный случай, если бы не короткое приглашение, пришедшее в офис от матери Большакова.

«Панихида по Петру состоится в субботу, 7 февраля, в 11 часов на сербском кладбище».

Он был уверен, что его адрес оказался в рассылке по ошибке, однако неприятные воспоминания, связанные с гибелью больного, письмо разбередило....

Ян снова украдкой заглянул в палату. Пуста. Последняя процедура закончилась. Отлично! Он с облегчением захлопнул историю болезни и швырнул ее обратно в стол. Наконец можно вырваться на волю.

Он тихо открыл дверь и, оглянувшись, проскользнул в регистратуру, где царил Лори, сестра-администратор, невозмутимая плотная японка с седыми волосами в тугой косичке и строгим взглядом за квадратными линзами очков. Лори проработала с Яном много лет и ни разу не ошиблась. Она была точнее часового механизма. Однако больные ее любили, а коллеги уважали и даже побаивались за острый язык и бесцеремонную прямоту.

— Добрый вечер, Лори, как поживаете? — спросил Ян, тяжело опершись о стойку.

— Доктор Рид, вы сегодня в четвертый раз спрашиваете, как я поживаю. Вы что, потеряли историю болезни и боитесь в этом признаться?

Ян нахмурился.

— Да, Лори, я действительно боюсь признаться. Я в вас давно и безнадежно влюблен, — попытался он пошутить.

— Неужели?! Что же вы молчали столько лет?

— Мое чувство к вам дремало и вот проснулось!

— Увы, моя рука принадлежит другому, более решительному поклоннику.

— Лори, вы разбили мне сердце.

— Могу порекомендовать опытного кардиолога, — парировала Лори, грозно сверкнув очками.

Ян невольно рассмеялся.

— Кстати, — снова заговорила Лори, — вы не знакомы с доктором Полсоном, бывшим главврачом госпиталя во Фримонте?

— Слышал о нем, но лично не знаю, — ответил Ян. — А чем он знаменит?

— Знаменит он тем, — сухо заметила медсестра, — что у него случился нервный срыв от переутомления, и ему пришлось оставить практику.

— К чему это вы? — насторожился Ян.

— К тому, доктор Рид, что вы плохо выглядите. Вам нужен отпуск.

— Невозможно! — устало отмахнулся Ян. — На кого больных оставить?

— Замену недели на три я вам обеспечу, хоть и придется поискать хорошего онколога. Но или вы берете отпуск, или доктор Рид станет мистером Ридом.

Ян задумался.

— А вы, Лори, считаете меня хорошим онкологом? — неожиданно спросил он.

— На мой взгляд, вы хороший онколог, неплохой организатор и даже сносный начальник. А вот кавалер из вас отвратительный: годами не появляетесь в регистратуре, а потом вдруг в пятницу вечером влетаете и признаетесь в любви.

— Какой ужас! Завтра же начну принимать больных в регистратуре, если вы так страдаете в мое отсутствие.

— Откровенно говоря, доктор Рид, забот и без вас хватает, — она выдержала многозначительную паузу и добавила: — Но если вы возьмете отпуск, я готова обсудить вашу тайную страсть.

— Спасибо, Лори, — сказал Ян, направляясь к выходу. — Я очень тронут. Возьму отпуск. Но и вы не задерживайтесь, пятница как-никак.

Он распахнул двери клиники и шагнул в вечерний Пало-Алто. Солнце уже почти закатилось за темную гряду холмов, ограждающих Силиконовую долину от зябких океанских туманов. Голубые сумерки быстро густели. Ночь обещала быть чистой и прохладной. На меркнущем небе загорались первые звезды, а за ними с академической синхронностью зажигались роскошные витрины, изысканные рестораны наполняли центр города упоительными запахами всех кухонь мира — от перуанской до тайской. Официанты выкатывали массивные, похожие на гигантские грибы газовые горелки прямо на центральную улицу и расставляли их вдоль тротуара. Черные пары, белые рубашки и красные галстуки, населявшие деловой квартал несколько часов назад, сменились пестрыми свитерами и протертыми по последней моде джинсами, а кое-где вечерними платьями, кожаными куртками и весьма редкими фраками: университетская мода не жаловала дресс-код. Винные залы быстро заполнялись возбужденными посетителями, за столики уже шла борьба. Где-то Паваротти пел неаполитанские песни, где-то танцевали.

Доктор Рид проголодался. Коробку бубликов, оставленную неизвестным благодетелем в ординаторской, расхватили за полчаса. Яну достались лишь жалкие полбублика и немного сыра — весь его дневной рацион. И все же он был рад погрузиться в гудящий водоворот пестрой толпы, заполнившей вечерний Пало-Алто. Ему нравилось слышать ее веселый гул, мимоходом читать обрывки афиш, с энтузиазмом махать руками, заметив знакомое лицо. Сумерки, словно театральное фойе перед спектаклем, несли в себе предчувствие чего-то праздничного, загадочного.

Ян любил этот маленький цветущий город: здесь все качественно, добротное, недешево — от мебельных салонов до матовых айфонов. Даже магазины нижнего белья с фотографиями красоток в кружевных трусиках смотрелись... почти не пошло.

Неширокие улицы приглашали побродить мимо старых викторианских домов, спрятавшихся в тени пышных садов, посидеть в уютных кафе, потягивая из крохотных чашечек терпкий эспрессо, поглазеть на фешенебельные витрины — роскошные, но некричащие, безукоризненно оформленные в современном стиле.

Пало-Алто — его город, населенный довольными, благополучными людьми, преуспевающими в своей области, как и он в своей, позволяющими себе одеваться в мод-

ных магазинах, обедать в дорогих ресторанах. Люди его круга — врачи, юристы, бизнесмены — цвет среднего класса Америки. Образованные, умные, энергичные, именно поэтому преуспевающие.

В ресторане было тихо и малоллюдно. В синем полумраке убаюкивающе играла бамбуковая флейта, мимо столиков неслышно скользили миниатюрные официантки в голубых кимоно. С наслаждением скинув обувь, Ян опустил уставшие ноги на теплый татами, заказал суши и погрузился в изучение винной карты. Очень хотелось выпить, но предстояло дежурство... Он с завистью оглядел счастливиц, бессовестно смакующих горячий sake из теплых графинов. Утешившись тем, что печень у этих несчастных скоро откажет, Ян перевел взор в сторону кухни. Из дверей выплыло покрытое чудесами японской кулинарии долгожданное блюдо и плавно приземлилось на столик. Голодный, усталый доктор Рид приступил наконец к заслуженному ужину.

«А почему бы Лори и не считать меня хорошим онкологом? — думал он. — В конце концов, это доктор Рид создал пусть небольшую, но популярную практику в престижном районе Калифорнии, рядом с одной из лучших медицинских школ Америки!»

Уровень ремиссии у него на шесть процентов превышает среднестатистический по штату. Шанс выжить у его пациентов на шесть процентов больше, чем в других клиниках, в большинстве других клиник! С ним считаются в Стэнфорде. Он пишет статьи в журналы — нечасто, но если требуется мнение практика-профессионала, обращаются к нему, знающему и опытному врачу.

Смерть Большакова — несчастный случай, только и всего. Повседневная практика насчитывает десятки, сотни подобных сценариев. Они неизбежны, как естественный отбор.

Внезапно зазвонил телефон. «Начинается!» — Ян вздрогнул и обреченно полез за мобильником в карман. К его великой радости, в трубке раздался голос Фреда.

— Ян?

— Фред! Дружище!

— Ян... Я не приеду, — произнес Фред, явно чем-то огорченный.

— Что-нибудь случилось?

— Да.

— Объясни толком!

Фред молчал. После долгой паузы Ян заговорил своим самым спокойным и размеренным тоном, которым он обращался к больным в критических ситуациях:

— Дружище, в чем дело? Ты же знаешь, я никому-никогда-ничего.

Тот помедлил, вздохнул и начал рассказывать:

— Я только что был у адвоката... понимаешь, молодая женщина с запущенным язвенным колитом. Месяцами уговаривал ее лечь на операцию. Она ни в какую. В результате острое внутрикишечное кровотечение. Я ее госпитализирую, торчу в клинике всю ночь, наконец стабилизирую ее состояние и только под утро еду домой. Не успел забраться в душ — звонят из клиники: ее нашли мертвой в уборной.

Фред замолчал.

— Тромб?

— Ну да. Перекрыв легочную артерию. Двух часов не прошло, как я из клиники уехал. Чертова эмболия!

— Сколько ей было?

— Около тридцати. Осталось двое сирот. Родственники подали в суд... Извини, на ужин не приду, не до застолий.

— Фред, успокойся, ты все равно ничего не мог бы сделать. Эмболию при остром кишечном кровотечении ни диагностировать, ни контролировать невозможно. Ты не виноват — любой юрист тебе это подтвердит.

— Врач всегда виноват. Недосмотрел, не убедил, не настоял. Объяснял ведь дуре: ложись на операцию. Была бы жива-здоровая. Так нет, уперлась... Я и с мужем ее говорил — все без толку!

— Ну, Фред, этак и в психушку угодить недолго. Откуда ты мог знать, что у нее оторвется тромб? Да если бы и знал, что бы сделал? Ждал бы, пока кровотечение само остановится?! Посмотри статистику. Такое случается сплошь и рядом...

— Не будем спорить, — раздраженно прервал его Фред, — не в статистике дело.

— Прости, дружище, — Ян сбавил тон, — не хотел тебя обидеть. Давай я к тебе заеду, суши привезу?

— Нет, Ян, спасибо, кусок в горло не лезет. Я позвоню на неделе. Этот разговор строго между нами.

— Ну конечно, Фред. Конечно, между нами. Дружище, не принимай близко к сердцу. У тебя семья, пациенты...

— Хорошо, понял... У меня другая линия... До встречи.

«До встречи», — хотел сказать Ян, но не успел: в телефоне зазвучали короткие гудки. Ян захлопнул телефон. Некоторое время он сидел неподвижно, уставившись в окно, за которым веселилась университетская публика, потом пожал плечами и вернулся к ужину.

«Блаженный какой-то этот Фред! — думал Ян, безо всякого аппетита дожевывая суши. — Врач всегда виноват! Нелепость! Да практически никогда врач не виновен в смерти пациента — грубая халатность нам не свойственна. Конечно, есть специалисты, которых нужно гнать из медицины. Но Фред к ним не относится. Он все сделал абсолютно правильно... и вот его тянут в суд, а он переживает, считает себя виноватым!»

Ян не стал доедать. Расплатился, выбрался наружу. Заложив руки в карманы, медленно пошел в сторону университета. Подвыпившая публика, до отказа заполнившая питейные заведения, бесшумно двигалась за широкими окнами, словно рыбы в аквариуме.

С заходом солнца сильно похолодало. На город легла густая калифорнийская ночь. Но на улицах было светло — Пало-Алто включил все свои огни, чтобы темнота не мешала всеобщему веселью. Смех, громкие возгласы, раскаты рок-н-ролла, яростные гудки машин, сражающихся за случайную парковку, — все это внезапно закружилось, зашумело и выплеснулось на центральную улицу — нечто среднее между карнавальным шествием и стихийным бедствием.

Внезапно появился отряд приземистых мексиканцев в традиционных костюмах. Отвоевав маленькую площадку перед пиццерией, они быстро сгрузили на нее целый арсенал музыкальных инструментов и начали вооружаться гитарами, скрипками и огромными, закрученными в спираль трубами. Один из них, в громадном сомбреро, вероятно солист, схватил пузатый микрофон и заорал во всю мощь могучей глотки: «Mi amo me dejo».

От неожиданности Ян вздрогнул, юркнул в боковую улочку и быстро зашагал прочь от центра, не дожидаясь, когда смуглые музыканты ударят по струнам, трубы заревут и его накроет взрывная волна удалого «mariachi».

Через пару кварталов глухой шум ночного веселья остался в далеком, ярко освещенном, нереальном мире. Огромные магнолии, стоящие на страже вдоль тротуара, надежно защищали темные сады и дремлющие среди них безмолвные домики.

С каждым шагом погружаясь в тишину ночи, Ян вернулся к своим мыслям. «Фред не прав. У хороших врачей обязательно бывают неудачи. Это посредственность никогда не ошибается, а настоящий мастер, спасая жизнь, идет на риск, порой огромный. Но когда пациент умирает, все тут же обвиняют онколога, тащат в суды, как будто

нам наплевать на своих больных. Между прочим, естественно, что люди умирают. И как ни странно, больные чаще, чем здоровые! Задача медика — помочь человеку бороться с болезнью, не более. Медицина способна продлить жизнь, но гарантии исцеления дать не может. Например, Большаков. Мальчишка чудом протянул лишний год. И это уже огромный успех!»

Неходжкинская лимфома в четвертой стадии практически неизлечима, даже если болезнь удастся диагностировать значительно раньше, чем у этого ребенка. Томографические снимки были совсем неважные — три, от силы четыре месяца жизни.

Они пришли к нему сразу после Рождества — Петя и его мать, оба ярко-рыжие, долговязые, нескладные, с длинными руками и синими испуганными глазами на веснушчатых лицах. Даже коричневая обувь на их непомерно больших ступнях казалась одного фасона. Они вполне могли вызвать улыбку, если бы не изможденный вид мальчика, от которого только и оставалось, что пара глаз на осунувшемся лице и огромные уши, торчащие из рыжих волос. Что он не жилец, было видно и без томографа.

Никто из коллег Яна не взялся бы лечить лимфому в таком состоянии — колоссальные риски при нулевых шансах. Морфий, детский хоспис и психолог для родителей — все, что сделал бы другой онколог. Все, что мог бы сделать!

А Ян попытался. Он по наитию выбрал режим химиотерапии и начал лечение, хотя надежды практически не оставалось.

Прошло три месяца. Большаков мужественно боролся с болезнью, цепко удерживая каждый день, каждый час жизни.

Они всегда приходили к Яну вдвоем, в своих неизменных коричневых ботинках. Мать виновато улыбалась, а Петя, серьезно сдвинув брови, жал ему руку и на стандартный вопрос о самочувствии отвечал, что ему лучше. После осмотра они внимательно выслушивали Яна и покорно шли на процедуру. Петя ложился в кресло, а она тихо читала ему из красной книги, время от времени очерчивая над ним широкий греческий крест.

Ян постепенно проникся к ним симпатией. Он прекрасно понимал, как тяжело мальчишке, как переживает его мать, но не замечал в них ни раздражения, ни капризов, ни растерянности: Большаковы словно знали, что делать, и исполняли это собранно и внимательно, как два альпиниста в связке, упорно поднимающиеся по вертикальной скале.

Закончился курс интенсивной терапии, начался следующий... Результаты анализов вдруг начали улучшаться, раковые метки устойчиво поползли вниз — мальчик выкарабкивался. В его синих глазах зажглась жизнь, на вопрос о самочувствии он уже широко улыбался.

В конце марта Петя пришел в офис с булочкой, испеченной в форме птицы.

— Что это? — удивился Ян.

— Жаворонок!

— Жаворонок? Жаворонок?! — заинтригованный Ян покрутил хлебец в руке, а потом осторожно откусил кусочек. Должно быть, у него был весьма озадаченный вид, потому что Петя неожиданно засмеялся и выкрикнул: «Жаворонки прилетели!»

Боже, как фантастично звучал детский смех в онкологическом кабинете. Ян поднял глаза на мать — она с обожанием и надеждой смотрела на сына. Ребенок выживет. Непременно.

Действительно, пересадка костного мозга прошла на редкость гладко, томографическое сканирование не обнаружило метастазов. После девяти месяцев лечения ремиссия, возможно полная, очевидна. Если это не успех, что же тогда успех?!

Он остановился на перекрестке: «Опять я думаю о работе! Я же обещал себе прекратиться! Мне не нужно оправдываться! Большаков — не поражение, а победа».

Из темноты выплыл силуэт массивного дома в два этажа. Через тяжелую стеклянную дверь виднелась широкая прихожая. Отделанная мрамором, она освещалась громадной бронзовой люстрой, казалось, едва державшейся на потолке. Прихожая вела в домашний кинозал, где мерцала плазменная панель размером с фреску Сикейроса. Шла реклама жвачки с арбузным вкусом. Герой нежно, но настойчиво закладывал в рот героини один пакетик за другим, они оба окрашивались в розовые тона. Жвачка сменилась вечерней комедией. Комедия — президентскими палатами, где милый, скромный, необыкновенно искренний мистер Буш аккуратно открывал и закрывал ротик под аплодисменты невидимой аудитории. Однако политика не интересовала владельца телевизора — фигура президента сменилась взрывами, падающими с обрыва машинами и растерзанными человеческими телами, которые, в свою очередь, уступили экран рекламе кетчупа.

С трудом оторвав взгляд от стеклянных дверей, Ян отвернулся.

«Какого черта я пялюсь в этот ящик? — он перешел на другую сторону улицы. — И какой кретин позволил этим богатым с... детям строить эти уродливые здания в центре Пало-Алто?!»

Было темно и пустынно. Желтые фонари едва освещали названия улиц. Ветви вековых магнолий, словно цепкие старушечьи руки, загораживали ночное небо. Роскошные особняки интернетовских магнатов гордо возвышались между скромными домиками профессорского состава.

Ян вспомнил теплое октябрьское утро накануне заключительной процедуры, когда все, даже череда зеленых светофоров, как по команде пропускавших его автомобиль на каждом перекрестке, предвещало безоблачный день, наполненный обыденной суетой и тихим удовлетворением от того, что долгая и сложная работа, слава богу, закончена и еще одна история болезни будет закрыта, убрана в картонную коробку и забыта через пару лет.

Свободная парковка в тот день нашлась всего в квартале от центра Пастера. Ян не спеша прогулялся до клиники, пококетничал с милейшей девочкой-радиологом, выпил отменный кофе и наконец добрался до приемной, где его ждали Петя с матерью.

Он с удивлением заметил выражение испуга на их лицах. «Что-нибудь случилось?» — спросил он. Не получив ответа, Ян долго объяснял, что терапия трексалином — одна из самых безопасных онкологических процедур, что бояться ее не следует, что на его памяти от нее никто не пострадал, и главное... Это их последняя процедура, которая значительно увеличит вероятность ремиссии на следующие пять лет! Налет отчужденности начал сходиться с лица женщины, но мальчик продолжал напряженно молчать. Тогда Ян присел рядом и, мягко взяв его за плечи, сказал: «Не бойся укола, это совсем не больно. Я все время буду рядом с тобой. Ты мне веришь?» Петя отвел глаза и кивнул в ответ, так и не проронив ни слова.

Потом были покрытые пятнами детские руки, судорожно вцепившиеся в подлокотники кресла, пронзительный вой сирены и короткие, быстрые движения реаниматоров, склонившихся над задыхающимся ребенком. Ян спиной чувствовал присутствие Большаковой, чье безнадежное молчание нависло над ним каменной стеной. Не найдя в себе мужества обернуться к ней, он украдкой подозвал одного из ассистентов и попросил вывести Большакову. Та вышла без сопротивления.

Ян машинально взмахнул рукой, отгоняя воспоминания: «Большаков проходил стандартную процедуру. Терапия трексалином предписана в обязательном порядке. Не назначить препарат было бы непрофессионально... и подсудно! Даже при возмож-

ной аллергии потенциальная польза от трексалина на порядок превышает риски его применения. Литература полна позитивных клинических отчетов, любой онколог на моем месте поступил бы так же».

Литература... Случаи аллергии на препарат были известны, но весьма немногочисленны. Яну смутно помнилось, что в каком-то журнале упоминалась острая печеночная недостаточность, вызванная трексалином, но точно не ДВС-синдром.

Прошел месяц после смерти Большакова. Доктор Рид проводил семинар в Стэнфорде и, пользуясь случаем, зашел в университетскую библиотеку — «American Practitioner» наконец-то опубликовал его заметку о диагностировании ранней саркомы. Журнал лежал верхним в стопке, еще никем не востребованный. Ян без удовольствия открыл зеленую гладкую обложку, нашел свою страницу и мельком просмотрел хорошо знакомый текст. Вторая публикация в этом году — неплохо!

Отложив свежий октябрьский номер и взяв июльский, доктор Рид лениво перелистывал журнал, как вдруг увидел заголовок «Клиническое тестирование на гиперчувствительность к трексалину». Сбросив сумку, Ян сел и внимательно прочел статью. Это был клинический отчет об исследованиях, проведенных в штате Айова год назад. Айова?! Какие исследования в Айове?!

Первоначально методика тестирования публиковалась в онкологических листках графства, затем предложена к применению в клиниках штата — где клиники, в Айове?! Затем методикой заинтересовался «American Practitioner», уже на национальном уровне. Методика не гарантировала стопроцентный результат, но семьдесят процентов аллергиков на трексалин выявляла. Большакова можно было протестировать на реактивность к его последнему лекарству, оказавшемуся смертельным.

...Промчавшийся мимо «мерседес» внезапно ослепил его дальним светом. «Пьяный кретин!» — придя в себя, Ян ругнулся и нервно зашагал обратно к центру.

«Невозможно уследить за всей онкологической периодикой, тем более в неспециальных журналах. Есть куда более важные вещи, чем клинические испытания в штате Айова, — зло бормотал доктор Рид. — Если в Индонезии вдруг изобретут методику — разве я должен знать об этом на следующее утро? Шестимесячная публикация — смешно! Большинство врачей знакомы в лучшем случае с материалами годичной давности. Допустим, я не прописал бы трексалин — ребенок все равно умер бы. Не от аллергии, так от рака. В чем разница?! И кто сказал, что это тестирование работает? Эскулапы из Айовы?! Пока методика не проверена практикой, цена ей ноль. Ноль! Нужно время, чтобы накопить факты, провести серьезный клинический анализ. Не один и не два врача, а вся медицинская общественность должна сформировать мнение, проверить на практике, и только тогда можно применять. Не давать препарат на основании сомнительных результатов вдвойне опасно. Если больной умрет от рака, потому что врач испугался возможной аллергии... что тогда? Что тогда!.. Эти публикации хороши только с... детям — адвокатам, охотникам за честными врачами!»

Ян шел быстро, почти бежал. Он не заметил, как оказался на центральной улице в эпицентре ночного гулянья. После сумрака боковых переулков обилие искусственного света резануло глаза. Несмотря на поздний час, все заведения были открыты. Магазины и галереи заполняли неиссякаемые посетители, которым через силу улыбались смертельно уставшие продавцы. Закончился вечерний сеанс, из кинотеатра хлынул поток зрителей, пованивавших попкорном. Ресторанные запахи, перемешанные с табачным дымом, вызывали тошноту. Из дверей кабака доносилась музыка, назойливая, как армейский барабан. Рядом толпилась курящая молодежь, слышалась примитивная ругань.

Ян поспешил отойти, мимоходом поглядел на витрину. В ней отразились воспаленные глаза на усталом лице, растерянном и озлобленном, какое он часто видел у раковых больных, потерявших надежду. Перевел взгляд и наткнулся на рекламу похотливой фотомодели, водрузившей задницу на блестящий капот спортивного автомобиля. С отвращением отвернулся.

Он стоял посреди тротуара. Мимо него победоносно шествовал цвет среднего класса Америки: преуспевающие профессионалы — врачи, юристы, бизнесмены — холеные и благополучные, имеющие возможность тратить деньги в свое удовольствие.

— Сытые кретины, — буркнул доктор, направляясь в сторону итальянского ресторана. Пинком открыв дверь, зашел внутрь, и, не ответив на приветствие швейцара, плюхнулся на высокий стул за стойкой.

— Что желаете? — спросил потный, с рыбьими глазками, бармен, подозрительно его осмотрев.

— Виски, — выдохнул Ян и после некоторых колебаний добавил: — Двойной.

Бармен лениво нацедил ему шотландского и занялся другими посетителями. Доктор Рид вновь погрузился в свои мысли.

«Странно, что Большаковы так и не подали на меня в суд. Шансы у них определенно были. Возможно, им это просто в голову не пришло. Как я слышал, русские не любят судиться. Да и какая разница: засудят, не засудят. Не боюсь я этих стряпчих... Черт бы побрал всю эту историю с публикациями, адвокатами и судами, вместе взятыми! В задницу онкологию — стану терапевтом!»

Он залпом выпил виски, потребовал еще. Бармен замешкался.

«Послушай, доктор Рид, — обратился он к себе, нервно катая пузатую рюмку по стойке в ожидании повторной дозы. — Перестань ныть и валять дурака. Ты хороший врач. Ты хороший онколог. Тебе не в чем оправдываться, ты ни в чем не виноват. Соберись».

Увы, верилось слабо — внутри сломался важный и сложный адаптивный механизм, который уговорами не починить. Ян достал телефон, набрал номер Лори.

— Лори, добрый вечер.

— Здравствуй, доктор Рид. Слушаю вас.

— Прошу прощения за поздний звонок. Надеюсь, я никого не разбудил?

— Все в порядке. Вы хотели поговорить о любви?

— Нет, нет... То есть да, конечно... — Ян запнулся, потом выпалил: — Лори, вы помните Петра Большакова? Умер в университетском госпитале полгода назад.

— Помню. Аллергический шок, повлекший ДВС-синдром. Смерть наступила в течение часа.

— Да, так и было... Где он похоронен, Лори?

— В Колме, на сербском кладбище.

— В Колме?!

— Да, на сербском кладбище в Колме.

— Откуда вы знаете?

— Из похоронного бюро приходило приглашение на похороны.

Ян подавленно молчал: о приглашении он знал, но предпочел забыть.

— Вам нужен адрес, доктор Рид? — участливо спросила Лори.

— Буду очень признателен. И вот еще что...

— Слушаю.

— Как мне найти его могилу?

— Я все узнаю и перезвоню завтра утром.

— Буду вам очень благодарен, Лори.

— Не волнуйтесь, доктор Рид. Все сделаю.

— Спасибо.

Разговор с Лори подействовал на Яна успокоительно. Она разыщет нужную информацию, можно не беспокоиться. После слабой попытки уговорить себя перестать пить и тихо удалиться он сдался и заказал еще рюмку. Перевалило за десять вечера, пора бы перестать бесконечно пережевывать историю смерти Большакова.

Медленно шагая к машине, доктор Рид с тоской вспомнил про телефонное дежурство до полуночи. К счастью, мобильник мирно молчал. «Господи, поспать бы часов шесть».

* * *

Звонок Лори вытащил сонного Яна из постели. Голова гудела после вчерашних возлияний. С третьей попытки ей удалось объяснить, как доехать до кладбища и найти там администратора, который покажет могилу Большакова. Затем он долго смотрел на клочок исписанной бумаги, тяжело соображая, что делать дальше. Наконец собравшись, загнал себя под душ, проглотил двойную порцию двойного эспresso и отправился в Колму.

Колма оказалась туманным хмурым городом, где, по-видимому, селились только покойники, включая домашних животных, из Сан-Франциско и окрестностей. По мере того как автомобиль медленно взбирался в гору, Ян насчитал с десяток кладбищ.

Сербское начиналось за каменотесной мастерской. Крошечный газон перед ним был заставлен надгробными памятниками — от скромных крестов до мраморных ангелов в человеческий рост. Ян свернул на узкую дорогу с ровными рядами могил по обе стороны. Припарковал машину, вышел и осмотрелся. Тяжелый белый туман медленно полз вниз, застилая вид на серый залив, заглушая шуршание случайных автомобилей, изредка проносящихся мимо кладбища. Лишь столетние эвкалипты тихо шелестели узкими листьями, медленно покачиваясь вслед холодному ветру, упорно дующему с лысых холмов.

Административное здание оказалось старым сараем, где он обнаружил старушку, пьющую чай у русского самовара. Ян спросил, как найти могилу АТ-5690. Прервав чаепитие, женщина с трудом поднялась и повела его к белой часовне. Потом устало махнула рукой в сторону маленькой группы людей.

Ян подошел поближе. Среди обступивших могилу он знал только мать Большакова. Почувствовал неловкость, однако присоединился к поминальной службе. Русский священник кадил перед крестом, с которого на него смотрел смеющийся Петя, — на фотографии ему было не больше пяти лет.

Счастливый, абсолютно здоровый мальчик улыбался Яну с массивного серого креста, выросшего из гранитной плиты. Ян никогда не видел Петю здоровым. Он помнил его очень больным, потом с трудом выздоравливавшим, потом умиравшим... и мертвым. Эх, малыш, малыш! То, что казалось безусловной победой, обернулось полным поражением.

Русские выводили грустную мелодию. Доктор не понимал ни слова. Вчерашний виски шумел в голове, промозглый, влажный ветер немилосердно продувал куртку. Присутствие других людей у могилы сильно раздражало. Хотелось поговорить с Петей один на один, без свидетелей. Объяснить, что в его смерти он не виноват, указать на другие обстоятельства, причины, которые тоже нужно принять во внимание.

«Любая процедура в онкологии крайне рискованна, она может закончиться трагически, и этот риск оправдан, на него идут ради спасения безнадежно больных, —

обращался доктор Рид к Петру. — Онкология — это игра, которую выиграть удастся, увы, нечасто, особенно в педиатрии».

Ян всматривался в фотографию маленького счастливого Пети. Он знал, что мальчик с ним согласится, ведь он не был онкологом, не читал клинических отчетов. Доверчивый ребенок, который без жалоб исполнял каждое требование врача, понимая, что они вместе воюют с раком, а капризы на войне неуместны.

Служба подошла к концу. Кладбище затихло. Поцеловав крест, священник погасил кадило и медленно побрел к машине, за ним потянулись остальные. У могилы остались доктор и Большакова.

— Елена, — Ян все еще помнил ее имя, — я очень сожалею. Поверьте, очень.

— Спасибо, доктор, — она замаялась, подняла заплаканные глаза. — Как вы узнали о панихиде?

— От вас пришло письмо в офис. Недоразумение, конечно... Вы позволите?

Присев рядом с крестом, он прикоснулся к холодному надгробию. Под этим камнем лежал Петр Большаков, чью жизнь он сначала с таким трудом вытянул из могилы, а потом так небрежно позволил ей выскользнуть обратно: «Прости меня, Петя. Прости, малыш. Ты мог бы жить... Должен был жить. Это моя вина, моя ошибка. Это я виноват в твоей смерти».

Ян медленно встал, повернулся к Большаковой.

— Елена... — образовалась пауза, он не знал, как продолжить. Слова не клеились.

— Что?

— Я хотел... хочу вам сказать... Смерть Петра для меня большая потеря. Я очень сожалею, что его нет с нами. Как его врач... Как его друг.

Женщина бросила на Яна удивленный взгляд.

— Друг?

— Я мог бы действовать более осторожно. Появилась новая методика тестирования на аллергию к трексалину. Я мог бы его проверить, подобрать другой препарат. Петина гибель не была неизбежной.

— Ночью, накануне смерти, Петя вдруг проснулся и позвал меня: «Мама, я завтра умру». Я его обняла и говорю: «Петенька, ты не умрешь, ты уже выздоровел». А он: «Нет, мама, ко мне пришли двое и сказали, что заберут меня завтра». — «Петенька, какие двое?» — «Не знаю. Двое... Они были одеты в свет».

Она осеклась и замолчала — ее душили слезы.

— Вы не виноваты, доктор. Вы ничего не могли сделать. Бог взял Петеньку. Бог дал, Бог взял. Мой мальчик....

Большакова разрыдалась. Ян осторожно взял ее под руку и усадил на могильную плиту. Она плакала о сыне — без ропота, без обиды. Ян молча стоял рядом. Он понимал, что говорить сейчас не стоит. Надо дать ей выплакаться, потом перевести разговор на другую тему. Расспросить о службе, священнике, похвалить хор. Хорошо, что рядом оказался врач, иначе она прорыдала бы на кладбище весь день.

За Петиней могилой поднимался целый лес крестов: одни с едва различимыми, выцветшими буквами жили здесь десятилетиями, другие казались поставленными только вчера. Каждый нес на себе имя владельца и дату смерти. Столько судеб закончилось здесь, некоторые длиной в век, а другие совсем короткие, как у Пети.

«Кладбище маленькое, а всех сожрало. Никому не тесно... Чертова смерть!» — Ян чувствовал, как внутри закипает тяжелая, мутная, рвущаяся на поверхность ярость. Пришлось напрячь все силы, чтобы ее не выплеснуть. Его лицо на мгновение изменилось. Большакова это заметила, встала и горячо заговорила:

— А я не верю в смерть! Петя жив! Я умру, и вы, доктор, умрете, и мы встретимся и уже не расстанемся. Бог, он всех Бог — и живых, и мертвых. И любит он нас и таких, и таких. Всегда! Как я Петю. Вы понимаете, о чем я, доктор.

Ян кивнул. Хорошо, если так. Хорошо, если есть неучтенная медициной инстанция, которая может исправлять ошибки врачей... Пусть и за порогом смерти.

Стало тихо и прохладно. Безмолвные ряды могил уже не вызывали гнева. Даже назойливое чувство вины исчезло — осталась лишь глубокая, как память, печаль. Он смотрел на широкий залив, затянутый у берегов туманом. Редкие облака медленно плыли по низкому небу, задевая голые вершины красных холмов. Грузные серые самолеты один за другим опускались в чашу аэропорта Сан-Франциско.

Ему захотелось улететь подальше из суетливой Силиконовой долины, от этой чертовой онкологии, от своих умирающих и умерших больных. Улететь куда угодно, хоть в Айову, где не нужно публиковаться и читать лекции в Стэнфорде. Где достаточно быть просто врачом... пусть даже терапевтом.

Доктор Рид обернулся. Большакова сидела напротив Петиной фотографии и беззвучно плакала. Он сел рядом и осторожно ее обнял.

ГОЛУБОЙ ЕДИНОРОГ

Разве жили в Нью-Йорке люди, разнящиеся сильнее Василия Яковлевича и Федора Афанасьевича? Первый юркий, тощий, как глиста на диете, неутомимый, ему чекушку водки что кефирчика глотнуть. Второй высокий, грузный, пролет лестничный с трудом одолеет. Один картины пишет, лодки из дерева точит, ручищи у него что клещи — хошь топор туда вставь, хошь зубило — все к месту, все умеют: и вырубить, и выгесать, и фаску снять. Другой карандаш не всегда удержит, а если удержит, то тетрадь испишет, восхваляя подвиги русских кадетов в эмиграции. Первый рода черного, крестьянского, а что ни напялит, ватник или фрак, — ну аристократ, вылитый граф, все сидит как с игопочки, бабы к нему липнут, не отбиться. Другой — из благородных, но уж больно потрепанных: пиджак мешком висит, штаны мятые, борода нечесаная, к тому же однолюб — в жены взял девицу Шаховскую, а та его прогнала.

Никто из старых эмигрантов бедного Федора Афанасьевича ютить не желал, хотя знали о его голубых кровях и заслугах из описания подвигов кадетского корпуса. Только одна милосердная душа нашлась. Поселил его в своей мастерской вышеупомянутый Василий Яковлевич Митников, знаменитый художник, прибывший с диссидентской помпой в Нью-Йорк в начале восьмидесятых.

— Живи, — сказал Митников, — бабу найдешь — съедешь.

— Бабу? — горько посетовал Федор Афанасьевич. — В крематорий бы не съехать.

— На крематорий наложим мораторий, — утешил его ласковый хозяин, — а ты, Федь, кто?

— Был историком, потом бухгалтером, а нынче... — Федора Афанасьевича передернуло, — нынче вот бездомный. Жена, с..., замки в дверях поменяла. Пришел с работы, в дом не зайти.

— Бабы — гадуки, — понимающе кивнул Василий Яковлевич. — Как первая со змеем поякшалась, так поныне они ядом сочатся.

Из чувства великой мужской солидарности обнял Митников Федора Афанасьевича за сутулые плечи.

— Не плачь, Федусенька, — сказал участливо, уводя страдальца в глубины мастерской, — отольются им наши слезы, мучения наши. А вот, гляди, комнатущечка твоя.

Здесь, правда, всякая мутня хранится — холсты, краски, зато живи сколько хошь. Матрац ща бросим — отдыхай, набирайся сил.

Очень был благодарен Федор Афанасьевич за такую доброту, поелику приходила ему уже не раз искуссительная мысль дойти до моста через Гудзон и напрямик головой в реку. Но Митников, душа-человек, гостя своего кормил, поил и всячески бодрил, называя ласково то Феденькой, то Федечкой, а порой и вовсе Федусиком. И что ж? Ожил со временем Федор Афанасьевич: отдохнул в кладовке недельку-другую, раны зализал, в себя пришел, даже на работу ходить начал. А еще стал к миру искусства приобщаться — куда денешься, ежели в мастерской художника живешь.

Хотя, положа руку на сердце, не нравились ему знаменитые картины Митникова, от которых в американском посольстве писали таким крутым кипятком, что на Лубянке канализационные трубы лопались. Все полотна казались склеены на один манер.

Кремль. Толстая кольцевая стена, наштукатуренная так, что кажется, еще мастеров набрось — и вся известь вниз повалится. Внутри стены прут вверх аляповатые купола, вроде нарядные и красивые, но уж очень мухоморы напоминают. Бурая звезда висит на Спасской башне, точно пакля на заборе. Небо серое, грязное, и оттуда черной смолой стекают стаи жирных ворон; крестов не видно, столько их. В центре полотна непременно ухмыляется крысиной мордочкой сам творец, художник-диссидент Митников, в рваной маечке или без оной, но обязательно выставив наружу голые грязные ступни-ласты. Вокруг Кремля, аккуратно вровень с босыми ногами Митникова, течет, бурлит и выплескивается на Красную площадь пестрая каша из советских людишек: кто в ватнике, кто в робе, кто в рыжей лисьей шапке. Вон бабуся в валенках распахивает толпу здоровенным холщовым мешком, мужик в синей дубленке топают, рыло тупое, сытое, затылок тройной, в руках важная кожаная папочка — не иначе, секретарь парткома. Модная розовая мадам в коричневых сапожках, заграничной курточке, накрашенная — макияж через холст проступает — держит на поводке рыжего кобеля. Ох и здоровая псина — шумерский лев: рычит, пасть разинул на глистообразную кошечку, ща проглотит. А та, не будь дура, прыг под ментовский мотоцикл.

Дрожат на морозе безликие солдатики, баба-вахтер в ватнике орет что-то ханурику на крыше Покровского собора. Как он туда забрался? Два драных алкашика оттачивают кореша от Боровицких ворот, а напротив сонный бухарик хочет из рюмочной выйти, на Мавзолей полюбоваться, но вот незадача — прямо в дверях на пол стекает...

От души наливал Василий Яковлевич, всем места хватало, даже обалдевших от происходящего членов правительства — даже их щедро размазало по холсту митниковское варево. А уж с каким вдохновением выписывал он мордатых ментов в синих полущубках, так о том, наверное, знает только гоголевский кузнец Вакула, намалевавший такого черта, что нельзя было пройти мимо и не сплюнуть.

— Где ж ты таких мордovorотов нашел для своих полицейских? — спросил однажды Федор Афанасьевич. — От одного вида тошнит. Бабуины в форме.

— Ну, Федусь, сравнил, — присвистнул Митников, — советского мента и бабуина. Бабуин — это интеллигентный человек, договориться можно, а с ментом, брат, без вариантов.

— Знаешь, Вась, — не выдержал Федор Афанасьевич, — не нравятся мне твои батальные сцены на Красной площади. Какой-то безысходный, злой человек из кадра в кадр. Ты бы еще Ленина с жопой вместо лысины туда воткнул — вот был бы шедевр.

— Это, брат, соц-эфаризм, — доходчиво объяснил Митников, — по-другому не пишется. А Ленина я б воткнул, да не хотелось обратно в дурку.

* * *

Однажды, вернувшись со службы, Федор Афанасьевич обнаружил в мастерской важнющую английскую мадам с переводчицей. Сама длинная, сухая, морда лошадиная — вылитый Маккартни на пике карьеры. Мастерская, конечно, была порядком завалена всяким хламом, но Вася — князь, расхаживал в итальянской паре с красной кокетливой киской и производил впечатление светского льва, случайно забредшего в хлев вместо Версаля.

Оба с упоением рассматривали альбомы Васиных работ. Дама с пониманием кивала, роняя скупые слова одобрения, но если на репродукции появлялась попа в поллиста, впадала в эстетический транс. «Fantastic, — восклицала она. — Sharply graphical!».

В творчестве Василия Яковлевича Митникова действительно проглядывала неудержимая тяга к изображению сего наиважнейшего места человеческого тела как центрального.

Федору эта тема мало нравилась, а вот английскую ценительницу приводила в восторг, чем Вася бесстыдно пользовался.

— Жопа — это современный квадрат Малевича, — вещал он, — агрессивная пластика гармонии плоти, десективизм, суперсексизм, assholatism. Свобода экспрессии, бунт самовыражения.

Бедняжка переводчица заикалась и постоянно ныряла в словарь. Однако на англичанку эта галиматья оказывала магическое воздействие: она даже умудрилась порозоветь, чем наповал сразила Федора Афанасьевича, поскольку уж очень напоминала египетскую мумию, которую видел он давеча в музее естественной истории.

«Что-то ему от этой воблы надо!» — смекнул Федя. А Вася, ну как мысли его прочел, резко повернулся и воскликнул выпренне:

— Знакомьтесь, Федор Спиридонов. Узник совести, жертва карательной психиатрии, живописательный историк кадетского корпуса.

Тут Василий Яковлевич застыл в чрезвычайно драматической позе, устремив верхние конечности к Федору Афанасьевичу. Тот же, обессиленный борьбой с советской тиранией, уронил портфель на грязный пол, скорбно сдвинул брови и горестно воздел руки к серому в пятнах потолку. Переводчица затараторила. Английская мадам привстала в ожидании...

— Сейчас, — победно выкрикнул Митников, — он нарисует жопу сапожной щеткой.

Далее Василий Яковлевич произнес свою знаменитую фразу, которой частенько начинал занятия с дилетантами обоих полов:

— Эй ты, старый буй, бери щетку и рисуй.

Федор Афанасьевич не удивился: Митникова он изучил довольно и к его педагогическим приемам попривык. Послушно намешав краску в тазике, взял щетку, холст и принялся малевать розовый мячик с полоской посередине. Зато иностранная гостья, когда ей перевели Васин призыв, захихикала, что послужило Митникову сигналом к решительным действиям.

— Да разве ж это жопа? — возмутился он. — Вот как надо!

Выхватив у Феди щетку, Митников начал лепить фрагмент женской фигуры. Из дымки холста вырастало осязаемо плотное тело, сквозь упругую молодую кожу просачивался матовый свет. Быстрые мазки щетки приводили в движение массы краски самых неуловимых оттенков. Словно волны, накатывались они друг на друга, поднимая из холста барельеф осязаемой плоти. Казалось, каждая щетинка играет свою

партию в этой симфонии цвета, повинуюсь командам сапожной щетки, как дирижерской палочки.

— F***ing impossible, — прошептала английская мадам.

Митников, казалось, только этого и ждал: обернувшись к гостье, он распахнул заляпанную краской руки и, протягивая ей сапожную щетку, возгласил с чудовищным акцентом:

— Come to me, miss Borg. Finish with me!

Завороженная мисс Борг подошла к холсту. Взяла щетку. Что-то человеческое, стыдливо женственное проснулось вдруг на чопорном лице великосветской мумии — у холста сидела вновь юная девушка, наслаждаясь давно забытой радостью созидания.

Через час картина была закончена. Митников снял полотно и вручил его мисс Борг вместе с рамкой.

— How much?

— Да ну, — Вася взмахнул рукой, — какие деньги? Сама ж нарисовала.

Мисс Борг поняла и неожиданно расплакалась.

— I want to say that I love him. In Russian, — обратилась она к переводчице.

— Я тебя люблю. — медленно проговорила переводчица, тщательно выделяя каждое слово.

— Вася, — сказала мисс Борг, не выпуская рамку из рук, — я тебя люблю.

Митников стоял напротив в безнадежно заляпанной итальянской паре и, довольно поблескивая своим хитрым крестьянским прищуром, оценивал добротный женский зад на холсте.

— Я голую бабу кого хошь рисовать научу, — сказал он так залихватски, что захотала вся компания, включая мисс Борг. Мог Вася порой так рубануть, что понимали его сразу, на любом языке, особенно женщины.

* * *

— Я сегодня проставляюсь, — сказал Вася, проводив дам, — знаешь, кто это?

— Ну?

— Арт-директор музея современного искусства.

— И?

— Теперь пойдут выставки, заказы. Деньжищи будем половником хлебать. Где здесь ресторан погрузинистей?

Василий Яковлевич желал кутить непременно в грузинском. Федор Афанасьевич знал два таких в Нью-Йорке: первый запомнился жирными тараканами, второй — жестокой дрисней после юбилея Общества русских кадетов.

— Не надо в грузинский, — взмолился Федя, — поехали в греческий. Гитара, шашлык, а официантки — чистый мед.

— Ну раз мед... — великодушно согласился Вася, — поехали в греческий.

Не подвел ресторан. Все было здесь как-то душевно, по-гречески: и лысый, хромой хозяин, заверивший их, что не марала еще турецкая пята чистые плиты его заведения, и грубо намалеванный афинский Пантеон, среди колонн которого весталки в прозрачных туниках прятались от возбужденных сатиров, и суровые спартанские копьяносцы на противоположной стене, строго следящие, чтобы сатиры гостям не докучали. Пусть черноокие дочери Эллады ни спереди, ни тем более сзади художественной ценности не представляли и против русской бабы «есть полный нуль», зато густое вино «Гермес» блаженно вздыхало в тяжелых глиняных чашах, из-под тугих гитарных

струн лилась вязкая грусть, взывая к растроганным Васе и Федусику таким сердечным сиртаки, что и цыганский «Ай Ромалэ» позавидовал бы.

— Что же ты, Вася, все жопы рисуешь? — сетовал Федор Афанасьевич. — Нет чтобы благородную часть изобразить, а в попе какая художественность?

— Какая? А такая, жопа — это пластика, текстура, объем. Жопа — это, брат, живописная сила. А что до благородности... — хитрый митниковский глаз грозно сверкнул, — так ты скажи, Бог Адама с жопой сделал или без?

Федор Афанасьевич хлебнул красенького, призадумался.... Не получался Адам без задницы... не выходил.

— С жопой, — признал Федя с неохотой.

— Так-то, — поучительно сказал Митников, — у совершенного Адама — совершенная жопа. Бог лажу не гонит.

— Да ладно? Будто ты ему свечку держал.

— Держал не держал, а знаю, поелику я и есть бог.

— Ха, — возмутился Федор, — тогда и я бог.

— Именно. Кто творит, тот и творец.

— Ха. Да ты себя послушай за работой, матерком порой так и несет.

— И что? Думаешь, Бог не матерится?

— А что, матерится?

— Еще как. Лепишь, лепишь хорошего человека, а выходит Хрущ или Ягода, как тут не ругнуться. Кроет будь здоров, ангелы уши затыкают.

— Ты еретик. — вынес приговор Федор Афанасьевич.

— А ты, значит, папа римский? — ехидно поинтересовался Митников.

— Православный я, хоть и плохонький.

Митников захохотал переливчато, беззлобно, как только он один и умел.

— Поехали, столп веры, покажу Бога.

* * *

К удивлению Федора Афанасьевича, Митников послал таксиста обратно к мастерской. «Где он там Бога спрятал, — недоумевал Феодор, — вроде каждый угол знаком?» Но Вася отыскал в кипе холстов один, поставил его на мольберт и включил весь свет, какой был в помещении.

Федор подошел. Перед ним лежал бескрайний светлый луг. Цветы на том лугу летали, как бабочки: кружились, порхали, сверкали короткими росчерками молний. Травы казались сотканными из бурого, синего и белого да сплетенными столь ловко, что пышная, невесомая васильковая вязь покрывала весь луг и убегала к далекому, уже неразличимому горизонту, где влюбленная земля соединялась с беззаботным небом, где выплескивалось тучным, щедрым ливнем темно-голубое облако, спешившее за чем-то на правый берег холста, ломая широкие мазки белого света, посланные прозрачной твердью обогреть весь Божий мир. А с того далекого горизонта дул на Федусика удивительный ветер: и сильный, и нежный, и громкий, и беззвучный, такой, что точно знаешь: есть он, вот же дышит... а где, не скажешь, ладонью не коснешься. А какие диковинные мерцающие цветы, какие невесомые хрупкие лепестки, каких блестящих бабочек и стрекоз нес этот тихий ветер к центру холста, где смыкалась плоть дождя с полосами небесного света, где из шепота ветра, из переключки лепестков, из водоворота цветов, из высокой, по грудь, травы, из скорого перезвона дождевых капель, из самой сердцевины быстротечной радости рождался из жидкого воздуха голубой

единорог. Создан он был из невысказанных оттенков белого, столь искусно слитых вместе, что виделся самым чистым, самым светлым, самым идеальным воплощением голубого. Погруженный в волнистые травы, словно в аметистовое море, мчался он вслед за облаком к кромке картины, и даже витой рог его стремился вперед, подобно стреле, летящей в мечту. Все было в движении, все несло вместе с единорогом к невидимой, но заветной цели, и только правый угол оставался неподвижным, освещая луг прозрачным покоем, за который шагни — и встретишь чудо.

— Смотри, — Митников показал на застывший свет в углу картины. — Там Бог.

Хрустнуло что-то в Фединой душе, словно встал на место смещенный позвонок, мучивший его всю жизнь. Есть красота, есть радость, есть Бог Митникова — не может человек написать голубого единорога, коли не дышит в нем надмирная гармония, коли не глаголет к нему Дух Творца.

«Да какого хрена я так печально живу, — ругал себя Федор Афанасьевич, — вот же голубой единорог, а я, дурак, страдаю. Да иди все на..., буду радоваться».

Стал с тех пор Федор Афанасьевич другим человеком: одеваться прилично начал, бриться регулярно, статьи публиковать в журнале «Путь кадета», даже на баб исподволь поглядывать, хотя и с большой опаской. Нашел в Бостоне работу денежную и покинул гостеприимный Васин матрац, но ни Митникова, ни голубого единорога не забыл, поскольку нежно обоим полюбил, скучал, и как выпадала ему оказия в Нью-Йорк, непременно выпивали они в греческом ресторане с весталками, говорили про жизнь, а потом возвращались в мастерскую и долго изучали Васины работы. Попы, разумеется, присутствовали, куда ж без них, но это Федю боле не смущало: понимал он, что дышит Дух, где хочет, и совсем без жопы единорога не изобразить.

Однажды в ноябре зашел он к Митникову — ключ от мастерской так на связке-то и висел. Хозяина не было, а стояло на мольберте большое полотно: лезет Вася на статую Свободы, небритый, лохматый, ухмылочка фирменная — крысиная, ступни-лапти грязнющие, маечка не первой свежести, джинсики драные, наклейка «Levi's» на всю задницу. Статуе Свободы приятно, аж порозовела от удовольствия — предвкушает, значит, а внизу, аккуратно под Васиной пятой, копошится народец: негры, латиносы, парочка англосаксов — глаженные брючки, рубашечки беленькие, розовые киски на бычьих шеях, а челюсти... бульдог позавидует. Танцуют хава нагилу еврей в черных котелках, пейсами потряхивают. Всех распахивая, прет шериф — рожа толстая, сытая, во рту сигара дымит, что твой дымоход. Кто-то ссыт, кто-то сосиски продает. А напротив Рейган с кафедры орет, его гнилыми томатами закидывают. Ну и, конечно, полицаи всюду. На вид люди приличные, но такой гомосетиной веет, что близко к холсту не подойти. Гадай, что лучше: советский мент или нью-йоркский пидор.

— Вот тебе и кап-ефаризм, — огорчился Федор, — разницы ноль. И зачем было из Москвы валить, шило на мыло менять?

Вася все не возвращался и не возвращался, а потому не мог утолить Федину любознательность. Ждал он, ждал, потом нашел голубого единорога, насмотрелся, напился его светом, покоем, дыханием Божьим и ушел, чтобы до полуночи в Бостон вернуться.

* * *

Через месяц — известие: умер Митников в День благодарения, аккуратно в три дня после Фединогo визита. Пришел вечерком домой после праздничной индюшки, лег на матрастик в кладовке и отдал Богу душу. Тело его отвезли в Москву, и остался Федусик круглым сиротой.

— Что ж ты, Вася, с..., умер? — крыл Федор Афанасьевич Митникова, трясясь в поезде по дороге в Нью-Йорк. — Хоть попрощался бы. Как жить-то? Ты все, а я? А мы?

Вышел на вокзале, взял такси и помчался в Васину мастерскую, может, не разграбили, может, хоть единорога оставили. Но нет — все растащили, только мусор валяется: тряпки, кровать поломанная, краски засохшие, драные холсты, тазик рисовальный, сапожные щетки... и матрас, на котором Федор Афанасьевич отдыхал, а Василий Яковлевич скончался. Ничего не сохранилось от Васи, разве ж только замызганный этот матрас, где скрывались еще остатки его запаха.

— Мля, Васька, с... — закричал Федусик, скорчившись от боли. — Умер, мля, не сказал!

Упал он на матрас, чтобы хоть запах Васин уловить, хоть какую часть Васи в себя вдохнуть. Долго шумел, поливая Митникова отборным матерком. Потом устал, замолчал — даже горе выдыхается.

Поднялся наконец Федор Афанасьевич, выбрал холст поцелее, поднял тюбики голубого и белого, порезал их, — внутри краска не засохла. Налил цвета в тазик, взял щетку и давай строить голубое небо, и белый свет, и поле, покрытое мягкой травой и цветами-бабочками, потому как обещал ему Митников, что ежели правильно написать мир, то обязательно задует с горизонта чудный ветер и в вихре белых лепестков принесет в центр полотна голубого единорога.

— Давай, старый буй, — сквозь слезы подбадривал себя Федусик, — бери щетку и рисуй.

СОН ИЗРАИЛЯ

Бог познаваем!
Но встретят Его лишь те,
кто с Ним готов повисеть
на буром от крови кресте.

Трибун Лидий Иосифу здравствовать!

О секте мессиан сведений собрать не удалось. Среди проданных в Египет сектантов не оказалось. Основатель секты — назорей, именуемый Иисусом, перед смертью предсказал разрушение Иерусалима. Полагаю, его адепты покинули Иудею в начале войны. Могут лишь сообщить, что в верхнем городе жил человек по имени Израил, которого многие подозревали в симпатиях к мессианам. Был он так стар, что помнил суд Пилата и распятие Иисуса. Мы пощадили его седины во время штурма. Но Флавий велел его казнить с не свойственной принцепсу жестокостью, чем сильно удивил царя Агриппу и Беренику.

(Источник: Иосиф Флавий, частная переписка)

Этот сон повторялся всю его нескончаемую жизнь. Жестокая память терзала новыми видениями, унося каждую ночь к бурому кресту на Голгофе, где Израиль и Яхве скрепили новый завет кровью Машиаха. Иногда всплывало забытое слово, иногда незамеченный рубец на теле жертвы, сладкая улыбка Каиафы, покрытый трещинами помост Претории, массивная печать прокуратора... Видения появлялись, исчезали, возникали снова, но это был все тот же сон, все тот же застывший во времени день, который всегда начинался у темного Гефсиманского сада, в ту единственную, страшную ночь накануне Песаха.

Среди людей, ожидавших мессию, мелькало немало знакомых лиц: слуги первосвященника, охрана Синедриона, учителя Галахи, фарисеи из школы Шаммая, храмовая челядь. Все были вооружены — копьями, ножами, вилами... столбами из изгороди, камнями из ограды. Трепет пламени выхватывал из мрака испуганные лица и желтые руки, судорожно сжимавшие дреколье. Он сам холодел от страха, представляя мечь Бога, которой ни человеку, ни народу не избежать. Наконец раздался ясный сильный голос пророка: «Иисуса Назорея ищите? Это я». Серая тень внезапно выплыла из мерцания факелов и скользнула вперед, чтобы поцеловать говорящего.

Он знал, ощущал всем существом, вплоть до нагих корней души, что совершается чудовищное, неслыханное безумие, но, зажатый в толпе, вместе со всеми стал красться к пленнику, медленно, согнувшись, почти на четвереньках, как зверь в стае, потом, осмелев и выпрямившись, побежал под торжествующий вой фарисеев, почувствовавших сладкий вкус мести.

Суд Синедриона длился вечность. Чреда лукавых свидетелей, молчание мессии, наконец, вопль Каиафы, более похожий на мольбу: «Ты ли Машиах, Сын Благословенного?!» Долгая, застывшая тишина, обрушенная коротким ответом: «Аз есмь». Каиафа, раздирающий одежды, согласный хор судей: «Достоин смерти!»

Он видел, как довольный первосвященник велел принести себе новое облачение, а на пленника посыпались удары и плевки. Чужая боль и унижение обжигали острее, чем если бы мучили его тело, и одновременно сердце заливалось странным, липким наслаждением: Бог отринул Своего пророка, теперь человеку позволено все!

Он отчетливо помнил двор Претории, белоснежную тогу на водянистом теле игемона, каждую складку на ткани, пурпурную скрепу на плече и даже незаметный кивок, которым Пилат велел вывести назорея на Гаваффу. Немногие выдерживают пытки преторианцев, но назвавшийся мессией выжил. Изодранное терновником лицо, красная от крови одежда, прилипшая к широким свежим шрамам от римской плети с шипами. Толпа завывала. Пилат поднял руку, требуя тишины...

Как часто бывает в снах, картины смешались. Белая стена тумана, ослепительная заря, перегруженная рыбацкая ладья, полная серебряной сверкающей трепещущей рыбы. Руки, руки, бесконечные руки, протянутые к корзине с хлебом. Оживший мертвец, закутанный в саван. Тихий голос учителя: «Да любите друг друга». Обнаженный ликующий Иерусалим, выплеснувшийся весь, без остатка, навстречу своему Царю, мечущий одежды ему под ноги.

Из темноты храма выплыл синий труп Иуды. Мертвые руки, швыряющие серебряники в лоснящиеся лица левитов. Визг гвоздей, впивающихся в деревянную плоть креста. Последний предсмертный хрип: «Жажду». Губка с уксусом, поднесенная к устам умирающего. Копье, пронзившее уже не дышащую грудь... кровь и вода, капающие из раны. Рыдания женщин, идущих по розовой борозде след в след. Многотысячный, восторженный, захлестывающий Иерусалим рев при виде Иисуса, рухнувшего под тяжестью креста.

Все стихло. Он снова оказался на площади Претории. Пилат стоял с поднятой рукой, ожидая тишины. «Этот человек невиновен. Что сотворю ему?» — с холодным отворачиванием бросил игемон в замершее перед ним людское море. Народ тяжело молчал...

«Распни его», — прошептал первосвященник. «Распни его», — эхом откликнулись саддукеи. Вот уже вся площадь взорвалась длинным звериным воем: «Распни! Распни его!»

Пилат стряхнул с рук невидимую влагу вниз на толпу: «Неповинен я в крови праведной».

И он, который знал, что стоящий над беснующимся Иерусалимом, преданный самой постыдной казни, нищий, никчемный, безродный назорей и есть мессия, испол-

нившись необъяснимой, невыносимой ненавистью к осужденному, закричал: «Кровь его на нас и детях наших!»

Сын плотника из Галилеи оказался помазанником Бога! Но тем страшнее, тем глубже его вина, ибо он предал чаяния Израиля и ничего, кроме нелепых басен и бесполезных чудес, не принес народу избранных. Его Бог, принимающий всех — даже беззаконных, даже нечистых, — не может быть Яхве Израиля.

* * *

Скрип тяжелых ворот прервал наконец затянувшийся кошмар. Очнувшийся от сна со стоном открыл глаза и увидел преторианцев, входящих в проем каменной стены. Среди них были легаты в туниках с пурпурной полосой, военные трибуны, центурионы легкой пехоты с короткими мечами в руках, слуги царя Агриппы. Многих он знал еще детьми. В центре шел низкорослый коренастый человек в грубой тунике простого легионера. Его широкое лицо с огромными ушами и уродливым мясистым носом несло на себе печать такой силы, что казалось, его плотное тело впитало в себя всю чудовищную мощь империи.

Тит Флавий Веспасиан с неприязнью оглядел сотню жителей верхнего города, случайно не растерзанных озверевшими когортами во время последнего штурма. Строптивые фанатики, бросившие вызов Риму! Он убивал их тысячами — морил голодом, зарывал живыми, сжигал на кострах. Он истребил больше иудеев, чем Цезарь галлов. Он разрушил их города, сжег их храм, утопил в их крови алтарь Бога, чье имя эти безумцы боятся произнести. Через месяц придут караваны с солью, и он повелит своим легионам срыть священную гору и перепахать ее землю с солью, чтобы там, где жил Яхве иудеев, навсегда воцарилась смерть.

В огромной зале звенела тишина. Победенные и победители ждали решения императора. Не оборачиваясь к свите, Флавий начал отдавать короткие, резкие приказы.

— Иудея выделяется в отдельную провинцию. Легату претории собирать десятину для нужд Юпитера Капитолийского в Риме. Сопrotивляющихся распинать. Гору Яхве срыть, на месте храма Соломона разместить десятый легион. Сколько жителей Иерусалима осталось в живых? — обратился принцепс к трибуну.

— Девяносто семь тысяч.

— Отобрать семьсот юношей для триумфа, женщин и детей продать, остальных на рудники в Египет.

Тит в последний раз скользнул безучастным взглядом по застывшим от ужаса израильтянам и повернулся к легатам.

— Этих распять, — буднично приказал Флавий, направляясь к выходу.

Очнувшийся от сна не знал латыни. Но он знал римский обычай и понял, что царь ойкумены приговорил его к кресту. Превозмогая старческую немощь, он вцепился руками в каменную стену, с трудом встал и высоким срывающимся голосом закричал на арамейском в спину уходящему императору, словно спасение всего Израиля зависело сейчас от того, услышит ли Яхве его последнюю просьбу. Флавий обернулся, равнодушно взглянул на изможденного старика, держащегося за стену, подождал придворного.

— Кто этот дряхлый иудей? Что ему нужно?

— Это левит Израил, летописец, — с поклоном ответил царедворец. — Он просит твоей милости, император.

— Что он хочет?

— Он хочет... Он сказал: «Дети, распните меня вниз головой».

Заметив удивление принцепса, мудрый придворный позволил себе чуть улыбнуться.